

А. С. Пушкин, ЦЫГАНЫ

Цыганы шумною толпой
По Бессарабии кочуют.
Они сегодня над рекой
В шатрах изодранных ночуют.
Как вольность, весел их ночлег
И мирный сон под небесами;
Между колесами телег,
Полузавешанных коврами,
Горит огонь; семья кругом
Готовит ужин; в чистом поле
Пасутся кони; за шатром
Ручной медведь лежит на воле.
Всё живо посреди степей:
Заботы мирные семей,
Готовых с утром в путь недалёкий,
И песни жен, и крик детей,
И звон походной наковальни.
Но вот на табор кочевой
Нисходит сонное молчанье,
И слышно в тишине степной
Лишь лай собак да коней ржанье.
Огни везде погашены,
Спокойно всё, луна сияет
Одна с небесной вышины
И тихий табор озаряет.
В шатре одном старик не спит;
Он перед углями сидит,
Согретый их последним жаром,
И в поле дальнее глядит,
Ночным подернутое паром.
Его молоденькая дочь
Пошла гулять в пустынном поле.
Она привыкла к резвой воле,
Она придет; но вот уж ночь,
И скоро месяц уж покинет
Небес далеких облака, —
Земфиры нет как нет; и стынет
Убогий ужин старика.

Но вот она; за нею следом
По степи юноша спешит;
Цыгану вовсе он неведом.
«Отец мой, — дева говорит, —
Веду я гостя; за курганом

Его в пустыне я нашла
И в табор на ночь зазвала.
Он хочет быть как мы цыганом;
Его преследует закон,
Но я ему подругой буду.
Его зовут Алеко — он
Готов идти за мною всюду».

Старик

Я рад. Остаюсь до утра
Под сенью нашего шатра
Или пробудь у нас и доле,
Как ты захочешь. Я готов
С тобой делить и хлеб и кров.
Будь наш — привыкни к нашей доле,
Бродящей бедности и воле —
А завтра с утренней зарей
В одной телеге мы поедем;
Примись за промысел любой:
Железо куй — иль песни пой
И селы обходи с медведем.

Алеко

Я остаюсь.

Земфира

Он будет мой:
Кто ж от меня его отгонит?
Но поздно... месяц молодой
Зашел; поля покрыты мглой,
И сон меня невольно клонит..
Светло. Старик тихонько бродит
Вокруг безмолвного шатра.
«Вставай, Земфира: солнце всходит,
Проснись, мой гость! пора, пора!..
Оставьте, дети, ложе неги!..»
И с шумом высыпал народ;
Шатры разобраны; телеги
Готовы двинуться в поход.
Всё вместе тронулось — и вот
Толпа валит в пустых равнинах.
Ослы в перекидных корзинах
Детей играющих несут;
Мужья и братья, жены, девы,
И стар и млад вослед идут;
Крик, шум, цыганские припевы,
Медведя рев, его цепей
Нетерпеливое бряцанье,

Лохмотьев ярких пестрота,
Детей и старцев нагота,
Собак и лай и завыванье,
Волынки говор, скрип телег,
Всё скудно, дико, всё нестройно,
Но всё так живо-неспокойно,
Так чуждо мертвых наших нег,
Так чуждо этой жизни праздной,
Как песнь рабов однообразной!
Уныло юноша глядел
На опустелую равнину
И грусти тайную причину
Истолковать себе не смел.
С ним черноокая Земфира,
Теперь он вольный житель мира,
И солнце весело над ним
Полуденной красою блещет;
Что ж сердце юноши трепещет?
Какой заботой он томим?
Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда;
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда;

В долгу ночь на ветке дремлет;
Солнце красное взойдет,
Птичка гласу бога внемлет,
Встрепенется и поет.
За весной, красой природы,
Лето знойное пройдет —
И туман и непогоды
Осень поздняя несет:
Людям скучно, людям горе;
Птичка в дальные страны,
В теплый край, за сине море
Улетает до весны.
Подобно птичке беззаботной
И он, изгнанник перелетный,
Гнезда надежного не знал
И ни к чему не привыкал.
Ему везде была дорога,
Везде была ночлега сень;
Проснувшись поутру, свой день
Он отдавал на волю бога,
И жизни не могла тревога
Смутить его сердечну лень.
Его порой волшебной славы
Манила дальная звезда;
Нежданно роскошь и забавы

К нему являлись иногда;
Над одинокой головою
И гром нередко грохотал;
Но он беспечно под грозою
И в ведро ясное дремал.
И жил, не признавая власти
Судьбы коварной и слепой;
Но боже! как играли страсти
Его послушною душой!
С каким волнением кипели
В его измученной груди!
Давно ль, на долго ль усмирели?
Они проснутся: погоди!

Земфира

Скажи, мой друг: ты не жалеешь
О том, что бросил на всегда?

Алеко

Что ж бросил я?

Земфира

Ты разумеешь:
Людей отчизны, города.

Алеко

О чем жалеть? Когда б ты знала,
Когда бы ты воображала
Неволю душных городов!
Там люди, в кучах за оградой,
Не дышат утренней прохладой,
Ни вешним запахом лугов;
Любви стыдятся, мысли гонят,
Торгуют волею своей,
Главы пред идолами клонят
И просят денег да цепей.
Что бросил я? Измен волнение,
Предрассуждений приговор,
Толпы безумное гоненье
Или блистательный позор.

Земфира

Но там огромные палаты,
Там разноцветные ковры,
Там игры, шумные пиры,
Уборы дев там так богаты!..

Алеко

Что шум веселий городских?
Где нет любви, там нет веселий.
А девы... Как ты лучше их
И без нарядов дорогих,
Без жемчугов, без ожерелий!
Не изменись, мой нежный друг!
А я... одно мое желанье
С тобой делить любовь, досуг
И добровольное изгнанье!

Старик

Ты любишь нас, хоть и рожден
Среди богатого народа.
Но не всегда мила свобода
Тому, кто к неге приучен.
Меж нами есть одно преданье:
Царем когда-то сослан был
Полудня житель к нам в изгнанье.
(Я прежде знал, но позабыл
Его мудреное прозванье.)
Он был уже летами стар,
Но млад и жив душой незлобной —
Имел он песен дивный дар
И голос, шуму вод подобный —
И полюбили все его,
И жил он на берегах Дуная,
Не обижая никого,
Людей рассказами пленяя;
Не разумел он ничего,
И слаб и робок был, как дети;
Чужие люди за него
Зверей и рыб ловили в сети;
Как мерзла быстрая река
И зимни вихри бушевали,
Пушистой кожей покрывали
Они святого старика;
Но он к заботам жизни бедной
Привыкнуть никогда не мог;
Скитался он иссохший, бледный,
Он говорил, что гневный бог
Его карал за преступленье...
Он ждал: придет ли избавленье.
И всё несчастный тосковал,
Бродя по берегам Дуная,
Да горьки слезы проливал,
Свой дальний град вспоминая,
И завещал он, умирая,

Чтобы на юг перенесли
Его тоскующие кости,
И смертью — чуждой сей земли
Не успокоенные гости!

Алеко

Так вот судьба твоих сынов,
О Рим, о громкая держава!..
Певец любви, певец богов,
Скажи мне, что такое слава?
Могильный гул, хвалебный глас,
Из рода в роды звук бегущий?
Или под сенью дымной кущи
Цыгана дикого рассказ?
Прошло два лета. Так же бродят
Цыганы мирною толпой;
Везде по-прежнему находят
Гостеприимство и покой.
Презрев оковы просвещения,
Алеко волен, как они;
Он без забот в сожаленья
Ведет кочующие дни.
Всё тот же он; семья всё та же;
Он, прежних лет не помня даже,
К бытью цыганскому привык.
Он любит их ночлегов сени,
И упоенье вечной лени,
И бедный, звучный их язык.
Медведь, беглец родной берлоги,
Косматый гость его шатра,
В селеньях, вдоль степной дороги,
Близ молдаванского двора
Перед толпою осторожной
И тяжело пляшет, и ревет,
И цепь докучную грызет;
На посох опершись дорожный,
Старик лениво в бубны бьет,
Алеко с пеньем зверя водит,
Земфира поселян обходит
И дань их вольную берет.
Настанет ночь; они все трое
Варят нежатое пшено;
Старик уснул — и всё в покое...
В шатре и тихо и темно.
Старик на вешнем солнце греет
Уж остывающую кровь;
У люльки дочь поет любовь.
Алеко внемлет и бледнеет.

Земфира

Старый муж, грозный муж,
Режь меня, жги меня:
Я тверда; не боюсь
Ни ножа, ни огня.

Ненавижу тебя,
Презираю тебя;
Я другого люблю,
Умираю любя.

Алеко

Молчи. Мне пенье надоело,
Я диких песен не люблю.

Земфира

Не любишь? мне какое дело!
Я песню для себя пою.
Режь меня, жги меня;
Не скажу ничего;
Старый муж, грозный муж,
Не узнаешь его.
Он свежее весны,
Жарче летнего дня;
Как он молод и смел!
Как он любит меня!

Как ласкала его
Я в ночной тишине!
Как смеялись тогда
Мы твоей седине!

Алеко

Молчи, Земфира! я доволен...

Земфира

Так понял песню ты мою?

Алеко

Земфира!

Земфира

Ты сердиться волен,
Я песню про тебя пою.

Уходит и поет: Старый муж и проч.

Старик

Так, помню, помню — песня эта
Во время наше сложена,
Уже давно в забаву света
Поется меж людей она.
Кочуя на степях Кагула,
Ее, бывало, в зимнюю ночь
Моя певала Мариула,
Перед огнем качая дочь.
В уме моем минувши лета
Час от часу темней, темней;
Но заронилась песня эта
Глубоко в памяти моей.
Всё тихо; ночь. Луной украшен
Лазурный юга небосклон,
Старик Земфирой пробужден:
«О мой отец! Алеко страшен.
Послушай: сквозь тяжелый сон
И стонет, и рыдает он».

Старик

Не тронь его. Храни молчанье.
Слыхал я русское преданье:
Теперь полунощной порой
У спящего теснит дыханье
Домашний дух; перед зарей
Уходит он. Сиди со мной.

Земфира

Отец мой! шепчет он: Земфира!

Старик

Тебя он ищет и во сне:
Ты для него дороже мира.

Земфира

Его любовь постыла мне.
Мне скучно; сердце воли просит —
Уж я... Но тише! слышишь? он
Другое имя произносит...

Старик

Чье имя?

Земфира

Слышишь? хриплый стон
И скрежет ярый!.. Как ужасно!..
Я разбужу его...

Старик

Напрасно,
Ночного духа не гони —
Уйдет и сам...

Земфира

Он повернулся,
Привстал, зовет меня... проснулся —
Иду к нему — прощай, усни.

Алеко

Где ты была?

Земфира

С отцом сидела.
Какой-то дух тебя томил;
Во сне душа твоя терпела
Мученья; ты меня страшил:
Ты, сонный, скрежетал зубами
И звал меня.

Алеко

Мне снилась ты.
Я видел, будто между нами...
Я видел страшные мечты!

Земфира

Не верь лукавым сновиденьям.

Алеко

Ах, я не верю ничему:
Ни снам, ни сладким увереньям,
Ни даже сердцу моему.

Старик

О чем, безумец молодой,
О чем вздыхаешь ты всечасно?
Здесь люди вольны, небо ясно,
И жены славятся красой.
Не плачь: тоска тебя погубит.

Алеко

Отец, она меня не любит.

Старик

Утешься, друг: она дитя.
Твое унынье безрассудно:
Ты любишь горестно и трудно,
А сердце женское — шутя.
Взгляни: под отдаленным сводом
Гуляет вольная луна;
На всю природу мимоходом
Равно сиянье льет она.
Заглянет в облако любое,
Его так пышно озарит —
И вот — уж перешла в другое;
И то недолго посетит.
Кто место в небе ей укажет,
Примолвя: там остановись!
Кто сердцу юной девы скажет:
Люби одно, не изменись?
Утешься.

Алеко

Как она любила!
Как нежно преклоняясь ко мне,
Она в пустынной тишине
Часы ночные проводила!
Веселья детского полна,
Как часто милым лепетаньем
Иль упоительным лобзаньем
Мою задумчивость она
В минуту разогнать умела!..
И что ж? Земфира неверна!
Моя Земфира охладела!...

Старик

Послушай: расскажу тебе
Я повесть о самом себе.
Давно, давно, когда Дунаю
Не угрожал еще москаль —
(Вот видишь, я припоминаю,
Алеко, старую печаль.)
Тогда боялись мы султана;
А правил Буджаком паша
С высоких башен Аккермана —
Я молод был; моя душа
В то время радостно кипела;
И ни одна в кудрях моих
Еще сединка не белела, —

Между красавиц молодых
Одна была... и долго ею,
Как солнцем, любовался я,
И наконец назвал моею...

Ах, быстро молодость моя
Звездой падучею мелькнула!
Но ты, пора любви, минула
Еще быстрее: только год
Меня любила Мариула.

Однажды близ Кагульских вод
Мы чуждый табор повстречали;
Цыганы те, свои шатры
Разбив близ наших у горы,
Две ночи вместе ночевали.
Они ушли на третью ночь, —
И, брося маленькую дочь,
Ушла за ними Мариула.
Я мирно спал; заря блеснула;
Проснулся я, подруги нет!
Ищу, зову — пропал и след.
Тоскуя, плакала Земфира,
И я заплакал — с этих пор
Постыли мне все девы мира;
Меж ими никогда мой взор
Не выбирал себе подруги,
И одинокие досуги
Уже ни с кем я не делил.

А ле ко

Да как же ты не поспешил
Тотчас вослед неблагодарной
И хищникам и ей коварной
Кинжала в сердце не вонзил?

С тар и к

К чему? вольнее птицы младость;
Кто в силах удержать любовь?
Чредою всем дается радость;
Что было, то не будет вновь.

А ле ко

Я не таков. Нет, я не споря
От прав моих не откажусь!
Или хоть мщеньем наслажусь.
О нет! когда б над бездной моря
Нашел я спящего врага,

Клянусь, и тут моя нога
Не пощадила бы злодея;
Я в волны моря, не бледнея,
И беззащитного б толкнул;
Внезапный ужас пробужденья
Свирепым смехом упрекнул,
И долго мне его паденья
Смешон и сладок был бы гул.

М о л о д о й ц ы г а н

Еще одно... одно лобзанье...

З е м ф и р а

Пора: мой муж ревнив и зол.

Ц ы г а н

Одно... но доле!.. на прощанье.

З е м ф и р а

Прощай, покамест не пришел.

Ц ы г а н

Скажи — когда ж опять свиданье?

З е м ф и р а

Сегодня, как зайдет луна,
Там, за курганом над могилой...

Ц ы г а н

Обманет! не придет она!

З е м ф и р а

Вот он! беги!.. Приду, мой милый.
Алеко спит. В его уме
Виденье смутное играет;
Он, с криком пробудясь во тьме,
Ревниво руку простирает;
Но обробелая рука
Покровы хладные хватает —
Его подруга далека...
Он с трепетом привстал и внемлет...
Всё тихо — страх его объемлет,
По нем текут и жар и хлад;
Встает он, из шатра выходит,
Вокруг телег, ужасен, бродит;
Спокойно всё; поля молчат;

Темно; луна зашла в туманы,
Чуть брезжит звезд неверный свет,
Чуть по росе приметный след
Ведет за дальные курганы:
Нетерпеливо он идет,
Куда зловещий след ведет.

Могила на краю дороги
Вдали белеет перед ним...
Туда слабеющие ноги
Влачит, предчувствием томим,
Дрожат уста, дрожат колени,
Идет... и вдруг... иль это сон?
Вдруг видит близкие две тени
И близкой шепот слышит он —
Над обесславленной могилой.

1 - й г о л о с

Пора...

2 - й г о л о с

Постой...

1 - й г о л о с

Пора, мой милый.

2 - й г о л о с

Нет, нет, постой,ждемся дня.

1 - й г о л о с

Уж поздно.

2 - й г о л о с

Как ты робко любишь.
Минуту!

1 - й г о л о с

Ты меня погубишь.

2 - й г о л о с

Минуту!

1 - й г о л о с

Если без меня
Проснется муж?..

А л е к о

Проснулся я.
Куда вы! не спешите оба;
Вам хорошо и здесь у гроба.

З е м ф и р а

Мой друг, беги, беги...

А л е к о

Постой!
Куда, красавец молодой?
Лежи!

Вонзает в него нож.

З е м ф и р а

Алеко!

Ц ы г а н

Умираю...

З е м ф и р а

Алеко, ты убьешь его!
Взгляни: ты весь обрызган кровью!
О, что ты сделал?

А л е к о

Ничего.
Теперь дыши его любовью.

З е м ф и р а

Нет, полно, не боюсь тебя! —
Твои угрозы презираю,
Твое убийство проклиная...

А л е к о

Умри ж и ты!

Поражает ее.

З е м ф и р а

Умру любя...
Восток, денницей озаренный,
Сиял. Алеко за холмом,
С ножом в руках, окровавленный
Сидел на камне гробовом.

Два трупа перед ним лежали;
Убийца страшен был лицом.
Цыганы робко окружали
Его встревоженной толпой.
Могилу в стороне копали.
Шли жены скорбной чередой
И в очи мертвых целовали.
Старик-отец один сидел
И на погибшую глядел
В немом бездействии печали;
Подняли трупы, понесли
И в лоно хладное земли
Чету младую положили.
Алеко издали смотрел
На всё... когда же их закрыли
Последней горстию земной,
Он молча, медленно склонился
И с камня на траву свалился.

Тогда старик, приблизясь, рек:
«Оставь нас, гордый человек!
Мы дики; нет у нас законов,
Мы не терзаем, не казним —
Не нужно крови нам и стонов —
Но жить с убийцей не хотим...
Ты не рожден для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли;
Ужасен нам твой будет глас:
Мы робки и добры душою,
Ты зол и смел — оставь же нас,
Прости, да будет мир с тобою».

Сказал — и шумною толпою
Поднялся табор кочевой
С долины страшного ночлега.
И скоро всё в дали степной
Сокрылось; лишь одна телега,
Убогим крытая ковром,
Стояла в поле роковом.
Так иногда перед зимою,
Туманной, утренней порою,
Когда подьмется с полей
Станица поздних журавлей
И с криком вдаль на юг несется,
Пронзенный гибельным свинцом
Один печально остается,
Повиснув раненым крылом.
Настала ночь: в телеге темной
Огня никто не разложил,

Никто под крышею подъемной
До утра сном не опочил.

ЭПИЛОГ

Волшебной силой песнопенья
В туманной памяти моей
Так оживляются виденья
То светлых, то печальных дней.

В стране, где долго, долго брани
Ужасный гул не умолкал,
Где повелительные грани
Стамбулу русский указал,
Где старый наш орел двуглавый
Еще шумит минувшей славой,
Встречал я посреди степей
Над рубежами древних станов
Телеги мирные цыганов,
Смиренной вольности детей.
За их ленивыми толпами
В пустынях часто я бродил,
Простую пищу их делил
И засыпал пред их огнями.
В походах медленных любил
Их песен радостные гулы —
И долго милой Мариулы
Я имя нежное твердил.
Но счастья нет и между вами,
Природы бедные сыны!..
И под издранными шатрами
Живут мучительные сны,
И ваши сени кочевые
В пустынях не спаслись от бед,
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.

А. С. Пушкин, РУСАЛКА

БЕРЕГ ДНЕПРА. МЕЛЬНИЦА

Мельник, дочь его.

Мельник

Ох, то-то все вы, девки молодые,
Все глупы вы. Уж если подвернулся
К вам человек завидный, не простой,
Так должно вам его себе упрочить.
А чем? разумным, честным поведением;
Заманивать то строгостью, то лаской;
Порою исподволь обиняком
О свадьбе заговаривать, — а пуще
Беречь свою девическую честь —
Бесценное сокровище; она —
Что слово — раз упустишь, не воротишь.
А коли нет на свадьбу уж надежды,
То все-таки по крайней мере можно
Какой-нибудь барыш себе — иль пользу
Родным да выгадать; подумать надо:
«Не вечно ж будет он меня любить
И баловать меня». — Да нет! куда
Вам помышлять о добром деле! кстати ль?
Вы тотчас одуреете; вы рады
Исполнить даром прихоти его;
Готовы целый день висеть на шее
У милого дружка, — а милый друг
Глядь и пропал, и след простыл; а вы
Остались ни с чем. Ох, все вы глупы!
Не говорил ли я тебе сто раз:
Эй, дочь, смотри; не будь такая дура,
Не прозевай ты счастья своего,
Не упускай ты князя, да проста
Не погуби самой себя. — Что ж вышло?..
Сиди теперь да вечно плачь о том,
Чего уж не воротишь.

Дочь

Почему же
Ты думаешь, что бросил он меня?

Мельник

Как почему? да сколько раз, бывало,
В неделю он на мельницу ежал?

А? всякий божий день, а иногда
И дважды в день — а там все реже, реже
Стал приезжать — и вот девятый день,
Как не видали мы его. Что скажешь?

Дочь

Он занят; мало ль у него заботы?
Ведь он не мельник — за него не станет
Вода работать. Часто он твердит,
Что всех трудов его труды тяжеле.

Мельник

Да, верь ему. Когда князя трудятся,
И что их труд? травить лисиц и зайцев,
Да пировать, да обижать соседей,
Да подговаривать вас, бедных дур.
Он сам работает, куда как жалко!
А за меня вода!.. а мне покою
Ни днем, ни ночью нет, а там посмотришь:
То здесь, то там нужна еще починка,
Где гниль, где течь. Вот если б ты у князя
Умела выпросить на перестройку
Хоть несколько деньжонок, было б лучше.

Дочь

Ах!

Мельник

Что такое?

Дочь

Чу! Я слышу топот
Его коня... Он, он!

Мельник

Смотри же, дочь,
Не забывай моих советов, помни...

Дочь

Вот он, вот он!

(Входит князь. Конюший уводит его коня.)

Князь

Здорово, милый друг.
Здорово, мельник.

Мельник

Милостивый князь,
 Добро пожаловать. Давно, давно
 Твоих очей мы светлых не видали.
 Пойду тебе готовить угощенье.
 (Уходит.)

Дочь

Ах, наконец ты вспомнил обо мне!
 Не стыдно ли тебе так долго мучить
 Меня пустым жестоким ожиданьем?
 Чего мне в голову не приходило?
 Каким себя я страхом не пугала?
 То думала, что конь тебя занес
 В болото или пропасть, что медведь
 Тебя в лесу дремучем одолел,
 Что болен ты, что разлюбил меня —
 Но слава богу! жив ты, невредим
 И любишь все по-прежнему меня;
 Не правда ли?

Князь

По-прежнему, мой ангел,
 Нет, больше прежнего.

Любовница

Однако ты
 Печален; что с тобою?

Князь

Я печален?
 Тебе так показалось. — Нет, я весел
 Всегда, когда тебя лишь вижу.

Она

Нет.
 Когда ты весел, издали ко мне
 Спешешь и кличешь: где моя голубка,
 Что делает она? а там целуешь
 И вопрошаешь: рада ль я тебе
 И ожидала ли тебя так рано.
 А нынче: слушаешь меня ты молча,
 Не обнимаешь, не целуешь в очи,
 Ты чем-нибудь встревожен, верно. Чем же?
 Уж на меня не сердись ли ты?

Князь

Я не хочу притворствовать напрасно.
 Ты права: в сердце я ношу печаль
 Тяжелую — и ты ее не можешь
 Ни ласками любовными рассеять,
 Ни облегчить, ни даже разделить.

Она

Но больно мне с тобою не грустить
 Одною грустью — тайну мне поведай.
 Позволишь — буду плакать; не позволишь —
 Ни слезкой я тебе не досажу.

Князь

Зачем мне медлить? чем скорей, тем лучше.
 Мой милый друг, ты знаешь, нет на свете
 Блаженства прочного: ни знатый род,
 Ни красота, ни сила, ни богатство,
 Ничто беды не может миновать.
 И мы, — не правда ли, моя голубка?
 Мы были счастливы; по крайней мере
 Я счастлив был тобой, твоей любовью.
 И что вперед со мною ни случится,
 Где б ни был я, всегда я буду помнить
 Тебя, мой друг; того, что я теряю,
 Ничто на свете мне не заменит.

Она

Я слов твоих еще не понимаю,
 Но уж мне страшно. Нам судьба грозит,
 Готовит нам неведомое горе,
 Разлуку, может быть.

Князь

Ты угадала.
 Разлука нам судьбою суждена.

Она

Кто нас разлучит? разве за тобою
 Идти вослед я всюду не властна?
 Я мальчиком оденусь. Верно буду
 Тебе служить, дорогою, в походе
 Иль на войне — войны я не боюсь —
 Лишь видела б тебя. Нет, нет, не верю.
 Иль выведать мои ты мысли хочешь,
 Или со мной пустую шутку шутишь.

Князь

Нет, шутки мне на ум нейдут сегодня,
Выведывать тебя не нужно мне,
Не снаряжаюсь я ни в дальний путь,
Ни на войну — я дома остаюсь,
Но должен я с тобой навек проститься.

Она

Постой, теперь я понимаю все...
Ты женишься.

(Князь молчит.)

Ты женишься!..

Князь

Что делать?

Сама ты рассуди. Князья не вольны,
Как девицы — не по сердцу они
Себе подруг берут, а по расчетам
Иных людей, для выгоды чужой.
Твою печаль утешит бог и время.
Не забывай меня; возьми на память
Повязку — дай, тебе я сам надену.
Еще с собой привез я ожерелье —
Возьми его. Да вот еще: отцу
Я это посулил. Отдай ему.

(Дает ей в руки мешок с золотом.)

Прощай.

Она

Постой; тебе сказать должна я
Не помню что.

Князь

Припомни.

Она

Для тебя

Я всё готова... нет не то... Постой —
Нельзя, чтобы навеки в самом деле
Меня ты мог покинуть... Все не то...
Да!.. вспомнила: сегодня у меня
Ребенок твой под сердцем шевельнулся.

Князь

Несчастливая! как быть? хоть для него
Побереги себя; я не оставлю

Ни твоего ребенка, ни тебя.
Со временем, быть может, сам приеду
Вас навестить. Утешься, не крушися.
Дай обниму тебя в последний раз.

(Уходя.)

Ух! кончено — душе как будто легче.

Я бури ждал, но дело обошлось

Довольно тихо.

(Уходит.)

Она остается неподвижною.

Мельник

(входит)

Не угодно ль будет

Пожаловать на мельницу... да где ж он?

Скажи, где князь наш? ба, ба, ба! какая

Повязка! вся в камнях дорогих!

Так и горит! и бусы!.. Ну, скажу:

Подарок царский. Ах он благодетель!

А это что? мошонка! уж не деньги ль?

Да что же ты стоишь, не отвечаешь,

Не вымолвишь словечка? али ты

От радости нежданной одурела,

Иль на тебя столбняк нашел?

Дочь

Не верю,

Не может быть. Я так его любила.

Или он зверь? Иль сердце у него

Косматое?

Мельник

О ком ты говоришь?

Дочь

Скажи, родимый, как могла его

Я прогневить? в одну недельку разве

Моя краса пропала? иль его

Отравой опоили?

Мельник

Что с тобою?

Дочь

Родимый, он уехал. Вон он скачет! —

И я, безумная, его пустила,

Я за полы его не уцепилась,
Я не повисла на узде коня!
Пускай же б он с досады отрубил
Мне руки по локоть, пускай бы тут же
Он растоптал меня своим конем!

Мельник

Ты бредишь!

Дочь

Видишь ли, князя не вольны,
Как девицы, не по сердцу они
Берут жену себе... а вольно им,
Небось, подманивать, божиться, плакать
И говорить: тебя я повезу
В мой светлый терем, в тайную светлицу
И наряжу в парчу и бархат алый.
Им вольно бедных девушек учить
С полуночи на свист их подыматься
И до зари за мельницей сидеть.
Им любо сердце княжеское тешить
Бедами нашими, а там прощай,
Ступай, голубушка, куда захочешь,
Люби, кого замыслишь.

Мельник

Вот в чем дело.

Дочь

Да кто ж его невеста? на кого
Он променял меня? уж я узнаю,
Я доберусь. Я ей скажу, злодейке:
Отстань от князя, — видишь, две волчихи
Не водятся в одном овраге.

Мельник

Дура!

Уж если князь берет себе невесту,
Кто может помешать ему? Вот то-то.
Не говорил ли я тебе...

Дочь

И мог он,
Как добрый человек, со мной прощаться,
И мне давать подарки — каково! —
И деньги! выкупить себя он думал,

Он мне хотел язык засеребрить,
Чтоб не прошла о нем худая слава
И не дошла до молодой жены.
Да, бишь, забыла я — тебе отдать
Велел он это серебро, за то,
Что был хорош ты до него, что дочку
За ним пускал таскаться, что ее
Держал не строго... Впрок тебе пойдет
Моя погибель.

(Отдает ему мешок.)

Отец

(в слезах)

До чего я дожил!
Что бог привел услышать! Грех тебе
Так горько упрекать отца родного.
Одно дитя ты у меня на свете,
Одна отрада в старости моей.
Как было мне тебя не баловать?
Бог наказал меня за то, что слабо
Я выполнил отцовский долг.

Дочь

Ох, душно!

Холодная змия мне шею давит...
Змеей, змеей опутал он меня,
Не жемчугом.

(Рвет с себя жемчуг.)

Мельник

Опомнись.

Дочь

Так бы я
Разорвала тебя, змею злодейку,
Проклятую разлучницу мою!

Мельник

Ты бредишь, право, бредишь.

Дочь

(сымает с себя повязку)

Вот венец мой,
Венец позорный! вот чем нас венчал
Лукавый враг, когда я отреклася

Ото всего, чем прежде дорожила.
Мы развенчались. — Сгинь ты, мой венец!
(Бросает повязку в Днепр.)
Теперь все кончено.
(Бросается в реку.)

Старик
(падая)

Ох, горе, горе!

....

КНЯЖЕСКИЙ ТЕРЕМ

Свадьба. Молодые сидят за столом.
Гости. Хор девушек.

Сват

Веселую мы свадебку сыграли.
Ну, здравствуй, князь с княгиней молодой.
Дай бог вам жить в любви да совете,
А нам у вас почаще пировать.
Что ж, красные девицы, вы примолкли?
Что ж, белые лебедушки, притихли?
Али все песенки вы перепели?
Аль горлышки от пенья пересохли?

Хор

Сватушка, сватушка,
Бестолковый сватушка!
По невесту ехали,
В огород заехали,
Пива бочку пролили,
Всю капусту полили,
Тыну поклонилися,
Верее молилися:
Веряя ль, вереюшка,
Укажи дороженьку
По невесту ехать.
Сватушка, догадайся,
За мошоночку принимайся,
В мошне денежка шевелится,
К красным девушкам норвится.

Сват

Насмешницы, уж выбрали вы песню!
На, на, возьмите, не корите свата.
(Дарит девушек.)

Один голос

По камушкам по желтому песочку
Пробегала быстрая речка,
В быстрой речке гуляют две рыбки,
Две рыбки, две малые плотицы.
А слышала ль ты, рыбка-сестрица,
Про вести-то наши, про речные?
Как вечер у нас красна девица топилась,
Утопая, мила друга проклинала.

Сват

Красавицы! да это что за песня?
Она, кажись, не свадебная; нет.
Кто выбрал эту песню? а?

Девушки

Не я —

Не я — не мы...

Сват

Да кто ж пропел ее?

(Шепот и смятение между девушками.)

Князь

Я знаю кто. (Встает из-за стола и
говорит тихо конюшему.)

Она сюда прокралась.

Скорее выведи ее. Да сведай,
Кто смел ее впустить.

(Конюший подходит к девушкам.)

Князь

(садится, про себя)

Она, пожалуй,

Готова здесь надеть столько шума,
Что со стыда не буду знать, куда
И спрятаться.

Конюший

Я не нашел ее.

Князь

Ищи. Она, я знаю, здесь. Она
Пропела эту песню.

Гость

Ай да мед!
И в голову и в ноги так и бьет —
Жаль, горек: подсластить его б не худо.

(Молодые целуются. Слышен слабый крик.)

Князь

Она! вот крик ее ревнивый.
(Конюшему.)

Что?

Конюший

Я не нашел ее нигде.

Князь

Дурак.

Дружок

(вставая)

Не время ль нам княгиню выдать мужу
Да молодых в дверях осыпать хмелем?

(Все встают.)

Сваха

Вестимо, время. Дайте ж петуха.

(Молодых кормят жареным петухом, потом осыпают хмелем — и ведут в спальню.)

Сваха

Княгиня душенька, не плачь, не бойся,
Послушна будь.

(Молодые уходят в спальню, гости все расходятся, кроме свахи и дружка.)

Дружок

Где чарочка? Всю ночь
Под окнами я буду разъезжать,
Так укрепиться мне вином не худо.

Сваха

(наливает ему чарку)

На, кушай на здоровье.

Дружок

Ух! спасибо.

Все хорошо, не правда ль, обошлось?
И свадьба хоть куда.

Сваха

Да, слава богу,
Все хорошо, — одно не хорошо.

Дружок

А что?

Сваха

Да не к добру пропели песню
Не свадебную, а бог весть какую.

Дружок

Уж эти девушки — никак нельзя им
Не попроказить. Статочно ли дело
Мутить нарочно княжескую свадьбу.
Пойти-ка мне садиться на коня.
Прощай, кума.
(Уходит.)

Сваха

Ох, сердце не на месте!
Не в пору сладили мы эту свадьбу.

....

СВЕТЛИЦА

Княгиня и мамка.

Княгиня

Чу — кажется, трубят; нет, он не едет.
Ах, мамушка, как был он женихом,
Он от меня на шаг не отлучался,
С меня очей, бывало, не сводил.
Женился он, и все пошло не так.
Теперь меня ранешенко разбудит
И уж велит себе коня седлать;

Да до ночи бог ведает где ездит;
Воротится, чуть ласковое слово
Промолвит мне, чуть ласковой рукой
По белому лицу меня потреплет.

М а м к а

Княгинюшка, мужчина что петух:
Кири куку! мах-мах крылом и прочь.
А женщина, что бедная наседка:
Сиди себе да выводи цыплят.
Пока жених — уж он не насидится;
Ни пьет, ни ест, глядит не наглядится.
Женился — и заботы настают.
То надобно соседей навестить,
То на охоту ехать с соколами,
То на войну нелегкая несет,
Туда, сюда — а дома не сидится.

К н я г и н я

Как думаешь? уж нет ли у него
Зазнобы тайной?

М а м к а

 Полно, не грехи:
Да на кого тебя он променяет?
Ты всем взяла: красою ненаглядной,
Обычаем и разумом. Подумай:
Ну в ком ему найти, как не в тебе,
Сокровища такого?

К н я г и н я

Когда б услышал бог мои молитвы
И мне послал детей! К себе тогда б
Умела вновь я мужа привязать...
А! полон двор охотниками. Муж
Домой приехал. Что ж его не видно?

(Входит л о в ч и й.)

Что князь, где он?

Л о в ч и й

 Князь приказал домой
Отъехать нам.

К н я г и н я

А где ж он сам?

Л о в ч и й

 Остался
Один в лесу на берегу Днепра.

К н я г и н я

И князя вы осмелились оставить
Там одного; усердные вы слуги!
Сейчас назад, сейчас к нему скачите!
Сказать ему, что я прислала вас.

(Ловчий уходит.)

Ах боже мой! в лесу ночной порою
И дикий зверь, и лютый человек,
И леший бродит — долго ль до беды.
Скорей зажги свечу перед иконой.

М а м к а

Бегу, мой свет, бегу...

....

ДНЕПР. НОЧЬ

Р у с а л к и

Веселой толпою
С глубокого дна
Мы ночью всплываем,
Нас греет луна.
Любо нам порой ночною
Дно речное покидать,
Любо вольной головою
Высь речную разрезать,
Подавать друг дружке голос,
Воздух звонкий раздражать,
И зеленый, влажный волос
В нем сушить и отряхать.

О д н а

Тише, тише! под кустами
Что-то кроется во мгле.

Д р у г а я

Между месяцем и нами
Кто-то ходит по земле.

(Прячутся.)

Князь

Знакомые, печальные места!
Я узнаю окрестные предметы —
Вот мельница! Она уж развалилась;
Веселый шум ее колес умолкнул;
Стал жернов — видно, умер и старик.
Дочь бедную оплакал он недолго.
Тропинка тут вилась — она заглохла,
Давно-давно сюда никто не ходит;
Тут садик был с забором, неужели
Разросся он кудрявой этой рощей?
Ах, вот и дуб заветный, здесь она,
Обняв меня, поникла и умолкла...
Возможно ли?..

(Идет к деревьям, листья сыплются.)

Что это значит? листья,
Поблекнув, вдруг свернулись и с шумом
Посыпались как пепел на меня.
Передо мной стоит он гол и черен,
Как дерево проклятое.

(Входит старик, в лохмотьях и полунагой.)

Старик

Здорово,
Здорово, зять.

Князь

Кто ты?

Старик

Я здешний ворон.

Князь

Возможно ль? Это мельник.

Старик

Что за мельник!
Я продал мельницу бесам запечным,
А денежки отдал на сохраненье
Русалке, вещи дочери моей.
Они в песку Днепра-реки зарыты,
Их рыбка-одноглазка стережет.

Князь

Несчастный, он помешан. Мысли в нем
Рассеяны, как тучи после бури.

Старик

Зачем вечер ты не приехал к нам?
У нас был пир, тебя мы долго ждали.

Князь

Кто ждал меня?

Старик

Кто ждал? вестимо, дочь.
Ты знаешь, я на все гляжу сквозь пальцы
И волю вам даю: сиди она
С тобою хоть всю ночь, до петухов,
Ни слова не скажу я.

Князь

Бедный мельник!

Старик

Какой я мельник, говорят тебе,
Я ворон, а не мельник. Чудный случай:
Когда (ты помнишь?) бросилась она
В реку, я побежал за нею следом
И с той скалы прыгнуть хотел, да вдруг
Почувствовал, два сильные крыла
Мне выросли внезапно из-под мышек
И в воздухе сдержали. С той поры
То здесь, то там летаю, то клюю
Корову мертвую, то на могилке
Сижу да каркаю.

Князь

Какая жалость!
Кто ж за тобою смотрит?

Старик

Да, за мною
Присматривать не худо. Стар я стал
И шаловлив. За мной, спасибо, смотрит
Русалочка.

Князь

Кто?

Старик
Внучка.

Князь
Невозможно
Понять его. Старик, ты здесь в лесу
Иль с голоду умрешь, иль зверь тебя
Заест. Не хочешь ли пойти в мой терем
Со мною жить?

Старик
В твой терем? нет! спасибо!
Заманишь, а потом меня, пожалуй,
Удавишь ожерельем. Здесь я жив,
И сыт, и волен. Не хочу в твой терем.
(Уходит.)

Князь
И этому все я виною! Страшно
Ума лишиться. Легче умереть.
На мертвеца глядим мы с уваженьем,
Творим о нем молитвы. Смерть равняет
С ним каждого. Но человек, лишенный
Ума, становится не человеком.
Напрасно речь ему дана, не правит
Словами он, в нем брата своего
Зверь узнает, он людям в посмеянье,
Над ним всяк волен, бог его не судит.
Старик несчастный! вид его во мне
Раскаянья все муки растравил!

Ловчий
Вот он. Насилу-то его сыскали!

Князь
Зачем вы здесь?

Ловчий
Княгиня нас послала.
Она боялась за тебя.

Князь
Несносна
Ее заботливость! иль я ребенок,
Что шагу мне ступить нельзя без няньки?
(Уходит.)

(Русалки показываются над водой.)

Русалки
Что, сестрицы? в поле чистом
Не догнать ли их скорей?
Плеском, хохотом и свистом
Не пугнуть ли их коней?

Поздно. Рощи потемнели,
Холодеет глубина,
Петухи в селе пропели,
Закатилась луна.

Одна
Погодим еще, сестрица.

Другая
Нет, пора, пора, пора.
Ожидает нас царица,
Наша строгая сестра.

Скрываются.

....

ДНЕПРОВСКОЕ ДНО

Терем русалок.

Русалки прядут около своей царицы.

Старшая русалка
Оставьте пряжу, сестры. Солнце село.
Столбом луна блестит над нами. Полно,
Плывите вверх под небом поиграть,
Да никого не трогайте сегодня,
Ни пешехода щекотать не смейте,
Ни рыбакам их невод отягчать
Травой и тиной, ни ребенка в воду
Заманивать рассказами о рыбаках.

Входит русалочка.

Где ты была?

Дочь

На землю выходила
Я к дедушке. Все просит он меня
Со дна реки собрать ему те деньги,
Которые когда-то в воду к нам
Он побросал. Я долго их искала;
А что такое деньги, я не знаю.
Однако же я вынесла ему
Пригоршню раковинк самоцветных.
Он очень был им рад.

Русалка

Безумный скряга!
Послушай, дочка. Нынче на тебя
Надеюсь я. На берег наш сегодня
Придет мужчина. Стереди его
И выдь ему навстречу. Он нам близок,
Он твой отец.

Дочь

Тот самый, что тебя
Покинул и на женщине женился?

Русалка

Он сам; к нему нежнее приласкайся
И расскажи все то, что от меня
Ты знаешь про свое рождение; также
И про меня. И если спросит он,
Забыла ль я его иль нет, скажи,
Что все его я помню и люблю
И жду к себе. Ты поняла меня?

Дочь

О, поняла.

Русалка

Ступай же.
(Одна.)
С той поры,
Как бросилась без памяти я в воду
Отчаянной и презренной девчонкой
И в глубине Днепра-реки очнулась
Русалкою холодной и могучей,
Прошло семь долгих лет — я каждый день
О мщенье помышляю...
И ныне, кажется, мой час настал.

....

БЕРЕГ

Князь

Невольно к этим грустным берегам
Меня влечет неведомая сила.
Все здесь напоминает мне бывшее
И вольной красной юности моей
Любимую, хоть горестную повесть.
Здесь некогда любовь меня встречала,
Свободная, кипящая любовь;
Я счастлив был, безумец!.. и я мог
Так ветрено от счастья отказаться.
Печальные, печальные мечты
Вчерашняя мне встреча оживила.
Отец несчастный! как ужасен он!
Авось опять его сегодня встречу,
И согласится он оставить лес
И к нам переселиться...

Русалочка выходит на берег.

Что я вижу!
Откуда ты, прекрасное дитя?

1832

В. Набоков, Лилит

Я умер. Яворы и ставни
горячий теребил Эол
вдоль пыльной улицы.

Я шел,
и фавны шли, и в каждом фавне
я мнил, что Пана узнаю:
"Добро, я, кажется, в раю".

От солнца заслонясь, сверкая
подмышкой рыжею, в дверях
вдруг встала девочка нагая
с речною лилией в кудрях,
стройна, как женщина, и нежно
цвели сосцы -- и вспомнил я
весну земного бытия,
когда из-за ольхи прибрежной
я близко-близко видеть мог,
как дочка мельника меньшая
шла из воды, вся золотая,
с бородкой мокрой между ног.

И вот теперь, в том самом фраке,
в котором был вчера убит,
с усмешкой хищною гуляки
я подошел к моей Лилит.
Через плечо зеленым глазом
она взглянула -- и на мне
одежды вспыхнули и разом
испепелились.

В глубине
был греческий диван мохнатый,
вино на столике, гранаты,
и в вольной росписи стена.
Двумя холодными перстами
по-детски взяв меня за пламя:
"Сюда",-- промолвила она.
Без принужденья, без усилия,
лишь с медленностью озорной,
она раздвинула, как крылья,
свои коленки предо мной.
И обольстителен и весел
был запрокинувшийся лик,
и яростным ударом чресел
я в незабытую проник.
Змея в змее, сосуд в сосуде,
к ней пригнанный, я в ней скользил,
уже восторг в растущем зуде

неописуемый сквозил,--
как вдруг она легко рванулась,
отпрянула и, ноги сжав,
вуаль какую-то подняв,
в нее по бедра завернулась,
и, полон сил, на полпути
к блаженству, я ни с чем остался
и ринулся и зашатался
от ветра странного. "Впусти",--
я крикнул, с ужасом заметя,
что вновь на улице стою
и мерзко блеющие дети
глядят на булаву мою.
"Впусти",-- и козлоногий, рыжий
народ все множился. "Впусти же,
иначе я с ума сойду!"
Молчала дверь. И перед всеми
мучительно я пролил семя
и понял вдруг, что я в аду.

1928, Берлин

Эдгар По, Аннабель Ли (Перевод К. Бальмонта)

Это было давно, это было давно,
В королевстве приморской земли:
Там жила и цвела та, что звалась всегда,
Называлась Аннабель-Ли,
Я любил, был любим, мы любили вдвоем,
Только этим мы жить и могли.

И, любовью дыша, были оба детьми
В королевстве приморской земли.
Но любили мы больше, чем любят в любви,—
Я и нежная Аннабель-Ли,
И, взирая на нас, серафимы небес
Той любви нам простить не могли.

Оттого и случилось когда-то давно,
В королевстве приморской земли,—
С неба ветер повеял холодный из туч,
Он повеял на Аннабель-Ли;
И родные толпой многозатной сошлись
И ее от меня унесли,
Чтоб навеки ее положить в саркофаг,
В королевстве приморской земли.

Половины такого блаженства узнать
Серафимы в раю не могли,—
Оттого и случилось (как ведомо всем
В королевстве приморской земли),—
Ветер ночью повеял холодный из туч
И убил мою Аннабель-Ли.

Но, любя, мы любили сильнее и полней
Тех, что старости бремя несли,—
Тех, что мудростью нас превзошли,—
И ни ангелы неба, ни демоны тьмы,
Разлучить никогда не могли,
Не могли разлучить мою душу с душой
Обольстительной Аннабель-Ли.

И всегда луч луны навевает мне сны
О пленительной Аннабель-Ли:
И зажжется ль звезда, вижу очи всегда
Обольстительной Аннабель-Ли;
И в мерцаньи ночей я все с ней, я все с ней,
С незабвенной — с невестой — с любовью моей —
Рядом с ней распростерт я вдали,
В саркофаге приморской земли.

Ф.М. Достоевский. Бесы. Глава «У Тихона»

«От Ставрогина.

Я, Николай Ставрогин, отставной офицер, в 186— году жил в Петербурге, предаваясь разврату, в котором не находил удовольствия. У меня было тогда в продолжение некоторого времени три квартиры. В одной из (них) проживал я сам в номерах со столом и прислугой, где находилась тогда и Марья Лебядкина, ныне законная жена моя. Другие же обе квартиры мои я нанял тогда помесечно для интриги: в одной принимал одну любившую меня даму, а в другой ее горничную и некоторое время был очень занят намерением свести их обеих так, чтобы барыня и девка у меня встретились при моих приятелях и при муже. Зная оба характера, ожидал себе от этой глупой шутки большого удовольствия.

Приготовляя исподволь эту встречу, я должен был чаще посещать одну из сих квартир в большом доме в Гороховой, так как сюда приходила та горничная. Тут у меня была одна лишь комната, в четвертом этаже, нанятая от мещан из русских. Сами они помещались рядом в другой, теснее, и до того, что дверь разделявшая всегда стояла отворенною, чего я и хотел. Муж у кого-то был в конторе и уходил с утра до ночи. Жена, баба лет сорока, что-то разрезывала и сшивала из старого в новое и тоже нередко уходила из дому относить, что нашила. Я оставался один с их дочерью, думаю, лет четырнадцати, совсем ребенком на вид. Ее звали Матрешей. Мать ее любила, но часто была и по их привычке ужасно кричала на нее по-бабьи. Эта девочка мне прислуживала и убирала у меня за ширмами. Объявляю, что я забыл номер дома. Теперь, по справке, знаю, что старый дом сломан, перепродан и на месте двух или трех прежних домов стоит один новый, очень большой. Забыл тоже имя моих мещан (а может быть, и тогда не знал). Помню, что мещанку звали Степанидой, кажется, Михайловной. Его не помню. Чьи они, откуда и куда теперь делись — совсем не знаю. Полагаю, что если очень начать их искать и делать возможные справки в петербургской полиции, то найти следы можно. Квартира была на дворе, в углу. Всё произошло в июне. Дом был светло-голубого цвета.

Однажды у меня со стола пропал перочинный ножик, который мне вовсе был не нужен и валялся так. Я сказал хозяйке, никак не думая о том, что она высечет дочь. Но та только что кричала на ребенка (я жил просто, и они со мной не церемонились) за пропажу какой-то тряпки, подозревая, что та ее стащила, и даже отодрала за волосы. Когда же эта самая тряпка нашлась под скатертью, девочка не захотела сказать ни слова в попрек и смотрела молча. Я это заметил и тут же в первый раз хорошо заметил лицо ребенка, а до тех пор оно лишь мелькало. Она была белобрысая и весноватая, лицо обыкновенное, но очень много детского и тихого, чрезвычайно тихого. Матери не понравилось, что дочь не попрекнула за битье даром, и она замахнулась на нее кулаком, но не ударила; тут как раз подоспел мой ножик. В самом деле, кроме нас троих, никого не было, а ко мне за ширмы входила только девочка. Баба остервенилась, потому что в первый раз прибила несправедливо, бросилась к венику, нарвала из него прутьев и высекла ребенка до рубцов, на моих глазах. Матреша от розог не кричала, но как-то странно всхлипывала при каждом ударе. И потом очень всхлипывала, целый час.

Но прежде того было вот что: в ту самую минуту, когда хозяйка бросилась к венику, чтобы надергать розог, я нашел ножик на моей кровати, куда он как-нибудь упал со стола. Мне тотчас пришло в голову не объявлять, для того чтоб ее высекли. Решился я мгновенно; в такие минуты у меня всегда прерывается дыхание. Но я намерен рассказать всё в более твердых словах, чтоб уж ничего более не оставалось скрытого.

Всякое чрезвычайно позорное, без меры унижительное, подлое и, главное, смешное положение, в каковых мне случалось бывать в моей жизни, всегда возбуждало во мне, рядом с безмерным гневом, неимоверное наслаждение. Точно так же и в минуты преступлений, и в минуты опасности жизни. Если б я что-нибудь крал, то я бы чувствовал при совершении кражи упоение от сознания глубины моей подлости. Не подлость я любил (тут рассудок мой бывал

совершенно цел), но упоение мне нравилось от мучительного сознания низости. Равно всякий раз, когда я, стоя на барьере, выжидал выстрела противника, то ощущал то же самое позорное и неистовое ощущение, а однажды чрезвычайно сильно. Сознаюсь, что часто я сам искал его, потому что оно для меня сильнее всех в этом роде. Когда я получал пощечины (а я получил их две в мою жизнь), то и тут это было, несмотря на ужасный гнев. Но если сдержать при этом гнев, то наслаждение превысит всё, что можно вообразить. Никогда я не говорил о том никому, даже намеком, и скрывал как стыд и позор. Но когда меня раз больно били в кабаке в Петербурге и таскали за волосы, я не чувствовал этого ощущения, а только неимоверный гнев, не быв пьян, и лишь дрался. Но если бы схватил меня за волосы и нагнул за границей тот француз, виконт, который ударил меня по щеке и которому я отстрелил за это нижнюю челюсть, то я бы почувствовал упоение и, может быть, не чувствовал бы и гнева. Так мне тогда показалось.

Всё это для того, чтобы всякий знал, что никогда это чувство не покоряло меня всего совершенно, а всегда оставалось сознание, самое полное (да на сознании-то всё и основывалось!). И хотя овладевало мною до безрассудства, но никогда до забвения себя. Доходя во мне до совершенного огня, я в то же время мог совсем одолеть его, даже остановить в верхней точке; только сам никогда не хотел останавливать. Я убежден, что мог бы прожить целую жизнь как монах, несмотря на звериное сладострастие, которым одарен и которое всегда вызывал. Предаваясь до шестнадцати лет, с необыкновенною неумеренностью, пороку, в котором исповедовался Жан-Жак Руссо, я прекратил в ту же минуту, как положил захотеть, на семнадцатом году. Я всегда господин себе, когда захочу. Итак, пусть известно, что я ни средой, ни болезнями безответственности в преступлениях моих искать не хочу.

Когда кончилась экзекуция, я положил ножик в жилетный карман и, выйдя, выбросил на улицу, далеко от дому, так, чтобы никто никогда не узнал. Потом я выждал два дня. Девочка, поплакав, стала еще молчаливее; на меня же, я убежден, не имела злобного чувства. Впрочем, наверно, был некоторый стыд за то, что ее наказали в таком виде при мне, она не кричала, а только всхлипывала под ударами, конечно потому, что тут стоял я и всё видел. Но и в стыде этом она, как ребенок, винила, наверно, одну себя. До сих пор она, может быть, только боялась меня, но не лично, а как постояльца, человека чужого, и, кажется, была очень робка.

Вот тогда-то в эти два дня я и задал себе раз вопрос, могу ли я бросить и уйти от замышленного намерения, и я тотчас почувствовал, что могу, могу во всякое время и сию минуту. Я около того времени хотел убить себя от болезни равнодушия; впрочем, не знаю от чего. В эти же два-три дня (так как непременно надо было выждать, чтобы девочка всё забыла) я, вероятно чтоб отвлечь себя от непрерывной мечты или только на смех, сделал в номерах кражу. Это была единственная кража в моей жизни.

В этих номерах гнездились много людей. Между прочим, и жил один чиновник, с семейством, в двух меблированных комнатках; лет сорока, не совсем глупый и имевший приличный вид, но бедный. Я с ним не сходил, и компании, которая там окружала меня, он боялся. Он только что получил жалование, тридцать пять рублей. Главное натолкнуло меня, что мне в самом деле в ту минуту нужны были деньги (хотя я через четыре дня и получил с почты), так что я крал как будто из нужды, а не из шутки. Сделано было нагло и явственно: я просто вошел в его номер, когда жена, дети и он обедали в другой каморке. Тут на стуле у самой двери лежал сложенный вицмундир. У меня вдруг блеснула эта мысль еще в коридоре. Я запустил руку в карман и вытащил портмоне. Но чиновник услышал шорох и выглянул из каморки. Он, кажется, даже видел по крайней мере что-нибудь, но так как не всё, то, конечно, и не поверил глазам. Я сказал, что, проходя коридором, зашел взглянуть, который час на его стенных. „Стоят-с“,— отвечал он, я и вышел.

Тогда я много пил, и в номерах у меня была целая ватага, в том числе и Лебядкин. Портмоне я выбросил с мелкими деньгами, а бумажки оставил. Было тридцать два рубля, три красных и две

желтых. Я тотчас же разменял красную и послал за шампанским; потом еще послал красную, а затем и третью. Часа через четыре, и уже вечером, чиновник выждал меня в коридоре.

— Вы, Николай Всеволодович, когда давеча заходи ли, не сронили ли нечаянно со стула вицмундир... у двери лежал?

— Нет, не помню. А у вас лежал вицмундир?

— Да, лежал-с.

— На полу?

— Сначала на стуле, а потом на полу.

— Что ж, вы его подняли?

— Поднял.

— Ну, так чего же вам еще?

— Да коли так, так и ничего-с...

Он договорить не посмел, да и в номерах не посмел никому сказать,— до того бывают робки эти люди. Впрочем, в номерах все меня боялись ужасно и почитали. Я потом любил с ним встречаться глазами, раза два в коридоре. Скоро наскучило.

Как только кончились три дня, я воротился в Гороховую. Мать куда-то собиралась с узлом; мешанина, разумеется, не было. Остались я и Матреша. Окна были отперты. В доме всё жили мастеровые, и целый день изо всех этажей слышался стук молотков или песни. Мы пробыли уже с час. Матреша сидела в своей каморке, на скамеечке, ко мне спиной, и что-то копалась с иголкой. Наконец вдруг тихо запела, очень тихо; это с ней иногда бывало. Я вынул часы и посмотрел, который час, было два. У меня начинало биться сердце. Но тут я вдруг опять спросил себя: могу ли остановить? и тотчас же ответил себе, что могу. Я встал и начал к ней подкрадываться. У них на окнах стояло много герани, и солнце ужасно ярко светило. Я тихо сел подле на полу. Она вздрогнула и сначала неимоверно испугалась и вскочила. Я взял ее руку и тихо поцеловал, принагнул ее опять на скамейку и стал смотреть ей в глаза. То, что я поцеловал у ней руку, вдруг рассмешило ее, как дитю, но только на одну секунду, потому что она стремительно вскочила в другой раз, и уже в таком испуге, что судорога прошла по лицу. Она смотрела на меня до ужаса неподвижными глазами, а губы стали дергаться, чтобы заплакать, но все-таки не закричала. Я опять стал целовать ей руки, взяв ее к себе на колени, целовал ей лицо и ноги. Когда я поцеловал ноги, она вся отдернулась и улыбнулась как от стыда, но какою-то кривою улыбкой. Всё лицо вспыхнуло стыдом. Я что-то всё шептал ей. Наконец вдруг случилась такая странность, которую я никогда не забуду и которая привела меня в удивление: девочка обхватила меня за шею руками и начала вдруг ужасно целовать сама. Лицо ее выражало совершенное восхищение. Я чуть не встал и не ушел — так это было мне неприятно в таком крошечном ребенке — от жалости. Но я преодолел внезапное чувство моего страха и остался.

Когда всё кончилось, она была смущена. Я не пробовал ее разуверить и уже не ласкал ее. Она глядела на меня, робко улыбаясь. Лицо ее мне показалось вдруг глупым. Смущение быстро с каждою минутой овладевало ею всё более и более. Наконец она закрыла лицо руками и стала в угол лицом к стене неподвижно. Я боялся, что она опять испугается, как давеча, и молча ушел из дому.

Полагаю, что всё случившееся должно было ей представиться окончательно как беспредельное безобразие, со смертным ужасом. Несмотря на русские ругательства, которые она должна была слышать с пеленок, и всякие странные разговоры, я имею полное убеждение, что она еще ничего не понимала. Наверное ей показалось в конце концов, что она сделала неимоверное преступление и в нем смертельно виновата, — „бога убила“.

В ту ночь я имел ту драку в кабаке, о которой мельком упоминал. Но я проснулся у себя в номерах наутро, меня привез Лебядкин. Первая мысль по пробуждении была о том: сказала она или нет; это была минута настоящего страха, хоть и не очень еще сильного. Я был очень весел в то утро и ужасно ко всем добр, и вся ватага была мною очень довольна. Но я бросил их всех и пошел

в Гороховую. Я встретился с нею еще внизу, в сенях. Она шла из лавочки, куда ее посылали за цикорием. Увидев меня, она стрельнула в ужасном страхе вверх по лестнице. Когда я вошел, мать уже хлестнула ее два раза по щеке за то, что вбежала в квартиру „сломя голову“, чем и прикрылась настоящая причина ее испуга. И так, всё пока было спокойно. Она куда-то забилась и не входила всё время, пока я был. Я пробыл с час и ушел.

К вечеру я опять почувствовал страх, но уже несравненно сильнее. Конечно, я мог отпереться, но меня могли и уличить. Мне мерещилась каторга. Я никогда не чувствовал страху и, кроме этого случая в моей жизни, ни прежде, ни после ничего не боялся. И уж особенно Сибири, хотя и мог быть сослан не однажды. Но в этот раз я был испуган и действительно чувствовал страх, не знаю почему, в первый раз в жизни,— ощущение очень мучительное. Кроме того, вечером, у меня в номерах, я возненавидел ее до того, что решился убить. Главная ненависть моя была при воспоминании об ее улыбке. Во мне рождалось презрение с непомерною гадливостью за то, как она бросилась после всего в угол и закрылась руками, меня взяло неизъяснимое бешенство, затем последовал озноб; когда же под утро стал наступать жар, меня опять одолел страх, но уже такой сильный, что я никакого мучения не знал сильней. Но я уже не ненавидел более девочку; по крайней мере до такого пароксизма, как с вечера, не доходило. Я заметил, что сильный страх совершенно прогоняет ненависть и чувство мщениия.

Проснулся я около полудня, здоровый, и даже удивился некоторым из вчерашних ощущений. Я, однако же, был в дурном расположении духа и опять-таки принужден был пойти в Гороховую, несмотря на всё отвращение. Помню, что мне ужасно хотелось бы в ту минуту иметь с кем-нибудь ссору, но только серьезную. Но, придя на Гороховую, я вдруг нашел у себя в комнате Нину Савельевну, ту горничную, которая уже с час ожидала меня. Эту девушку я совсем не любил, так что она пришла сама немного в страхе, не рассержусь ли я за незванный визит. Но я вдруг ей очень обрадовался. Она была недурна, но скромна и с манерами, которые любит мещанство, так что моя баба-хозяйка давно уже очень мне хвалила ее. Я застал их обеих за кофеем, а хозяйку в чрезвычайном удовольствии от приятной беседы. В углу их каморки я заметил Матрешу. Она стояла и смотрела на мать и на гостью неподвижно. Когда я вошел, она не спряталась, как тогда, и не убежала. Мне только показалось, что она очень похудела и что у ней жар. Я приласкал Нину и запер дверь к хозяйке, чего давно не делал, так что Нина ушла совершенно обрадованная. Я ее сам вывел и два дня не возвращался в Гороховую. Мне уже надоело.

Я решился всё покончить, отказаться от квартиры и уехать из Петербурга. Но когда я пришел, чтоб отказаться от квартиры, я застал хозяйку в тревоге и в горе: Матреша была больна уже третий день, каждую ночь лежала в жару и ночью бредила. Разумеется, я спросил, об чем она бредит (мы говорили шепотом в моей комнате). Она мне зашептала, что бредит „ужасти“: „Я, дескать, бога убила“. Я предложил привести доктора на мой счет, но она не захотела: „Бог даст, и так пройдет, не всё лежит, днем-то выходит, сейчас в лавочку сбегала“. Я решился заставить Матрешу одну, а так как хозяйка проговорилась, что к пяти часам ей надо сходить на Петербургскую, то и положил воротиться вечером.

Я пообедал в трактире. Ровно в пять с четвертью воротился. Я входил всегда с своим ключом. Никого, кроме Матрещи, не было. Она лежала в каморке за ширмами на материной кровати, и я видел, как она выглянула; но я сделал вид, что не замечаю. Все окна были отворены. Воздух был тепл, было даже жарко. Я походил по комнате и сел на диван. Всё помню до последней минуты. Мне решительно доставляло удовольствие не заговаривать с Матрешей. Я ждал и просидел целый час, и вдруг она вскочила сама из-за ширм. Я слышал, как стукнули ее обе ноги об пол, когда она вскочила с кровати, потом довольно скорые шаги, и она стала на пороге в мою комнату. Она глядела на меня молча. В эти четыре или пять дней, в которые я с того времени ни разу не видал ее близко, действительно очень похудела. Лицо ее как бы высохло, и голова, наверно, была горяча. Глаза стали большие и глядели на меня неподвижно, как бы с тупым любопытством, как мне показалось сначала. Я сидел в углу дивана, смотрел на нее и не трогался. И тут вдруг опять я

почувствовал ненависть. Но очень скоро заметил, что она совсем меня не пугается, а, может быть, скорее в бреду. Но она и в бреду не была. Она вдруг часто закивала на меня головой, как кивают, когда очень укоряют, и вдруг подняла на меня свой маленький кулачок и начала грозить им мне с места. Первое мгновение мне это движение показалось смешным, но дальше я не мог его вынести: я встал и подвинулся к ней. На ее лице было такое отчаяние, которое невозможно было видеть в лице ребенка. Она всё махала на меня своим кулачком с угрозой и всё кивала, укоряя. Я подошел близко и осторожно заговорил, но увидел, что она не поймет. Потом вдруг она стремительно закрылась обеими руками, как тогда, отошла и стала к окну, ко мне спиной. Я оставил ее, воротился в свою комнату и сел тоже у окна. Никак не пойму, почему я тогда не ушел и остался как будто ждать. Вскоре я опять услышал поспешные шаги ее, она вышла в дверь на деревянную галерею, с которой и был сход вниз по лестнице, и я тотчас побежал к моей двери, приотворил и успел еще подглядеть, как Матреша вошла в крошечный чулан вроде курятника, рядом с другим местом. Странная мысль блеснула в моем уме. Я притворил дверь — и к окну. Разумеется, мелькнувшей мысли верить еще было нельзя; „но однако“ .. (Я все помню).

Через минуту я посмотрел на часы и заметил время. Надвигался вечер. Надо мною жужжала муха и всё садилась мне на лицо. Я поймал, подержал в пальцах и выпустил за окно. Очень громко въехала внизу во двор какая-то телега. Очень громко (и давно уже) пел песню в углу двора в окне один мастеровой, портной. Он сидел за работой, и мне его было видно. Мне пришло в голову, что так как меня никто не повстречал, когда я входил в ворота и подымался по лестнице, то, конечно, не надо, чтобы и теперь повстречали, когда я буду сходить вниз, и я отодвинул стул от окна. Затем взял книгу, но бросил и стал смотреть на крошечного красенького паучка на листке герани и забылся. Я всё помню до последнего мгновения.

Я вдруг выхватил часы. Прошло двадцать минут с тех пор, как она вышла. Догадка принимала вид вероятности. Но я решился подождать еще с четверть часа. Приходило тоже в голову, не воротилась ли она, а я, может быть, прослышал; но этого не могло и быть: была мертвая тишина, и я мог слышать писк каждой мушки. Вдруг у меня стало биться сердце. Я вынул часы: не доставало трех минут; я их высидел, хотя сердце билось до боли. Тут-то я встал, накрылся шляпой, застегнул пальто и осмотрелся в комнате, все ли на прежнем месте, не осталось ли следов, что я заходил? Стул я придвинул ближе к окну, как он стоял прежде. Наконец, тихо отворил дверь, запер ее моим ключом и пошел к чуланчику. Он был приперт, но не заперт, я знал, что он не запирался, но я отворить не хотел, а поднялся на цыпочки и стал глядеть в щель. В это самое мгновение, подымаясь на цыпочки, я припомнил, что когда сидел у окна и смотрел на красного паучка и забылся, то думал о том, как я приподымусь на цыпочки и достану глазом до этой щелки. Вставляя здесь эту мелочь, хочу непременно доказать, до какой степени явственно я владел моими умственными способностями. Я долго глядел в щель, там было темно, но не совершенно. Наконец я разглядел, что было надо... все хотелось совершенно удостовериться.

Я решил наконец, что мне можно уйти, и спустился с лестницы. Я никого не встретил. Часа через три мы все, без сюртуков, пили в номерах чай и играли в старые карты, Лебядкин читал стихи. Много рассказывали и, как нарочно, всё удачно и смешно, а не так, как всегда, глупо. Был и Кириллов. Никто не пил, хотя и стояла бутылка рому, но прикладывался один Лебядкин. Прохор Малов заметил, что „когда Николай Всеволодович довольны и не хандрят, то все наши веселы и умно говорят“. Я запомнил это тогда же.

Но часов уже в одиннадцать прибежала Дворникова девочка от хозяйки, с Гороховой, с известием ко мне, что Матреша повесилась. Я пошел с девочкой и увидел, что хозяйка сама не знала, зачем посылала за мной. Она вопила и билась, была кутерьма, много народу, полицейские. Я постоял в сенях и ушел.

Меня почти не беспокоили, впрочем, спросили что следует. Но, кроме того, что девочка была больна и бывала в бреду в последние дни, так что я предлагал с своей стороны доктора на мой счет, я решительно ничего не мог показать. Спрашивали меня и про ножик, я сказал, что хозяйка

высекла, но что это было ничего. Про то, что я приходил вечером, никто не узнал. Про результат медицинского свидетельства я ничего не слышал.

С неделю я не заходил туда. Зашел, когда уже давно похоронили, чтобы сдать квартиру. Хозяйка все еще плакала, хотя уже возилась с своим лоскутьем и с шитьем по-прежнему. „Это я за ваш ножик ее обидела“,— сказала она мне, но без большого укора. Я рассчитался под тем предлогом, что нельзя же мне теперь оставаться в такой квартире, чтоб принимать в ней Нину Савельевну. Она еще раз похвалила Нину Савельевну на прощанье. Уходя, я подарил ей пять рублей сверх должного за квартиру.

Мне и вообще тогда очень скучно было жить, до одури. Происшествие в Гороховой, по миновании опасности, я было совсем забыл, как и все тогдашнее, если бы некоторое время я не вспоминал еще со злостью о том, как я струсил. Я изливал мою злость на ком я мог. В это же время, но вовсе не почему-нибудь, пришла мне идея искалечить как-нибудь жизнь, но только как можно противнее. Я уже с год назад помышлял застрелиться; представилось нечто получше. Раз, смотря на хромую Марию Тимофеевну Лебядкину, прислуживавшую отчасти в углах, тогда еще не помешанную, но просто восторженную идиотку, без ума влюбленную в меня втайне (о чем выследили наши), я решился вдруг на ней жениться. Мысль о браке Ставрогина с таким последним существом шевелила мои нервы. Безобразнее нельзя было вообразить ничего. Но не берусь решить, входила ли в мою решимость хоть бессознательно (разумеется, бессознательно!) злоба за низкую трусость, овладевшая мною после дела с Матрешей. Право, не думаю; но во всяком случае я обвенчался не из-за одного только „пари на вино после пьяного обеда“. Свидетелями брака были Кириллов и Петр Верховенский, тогда случившийся в Петербурге; наконец, сам Лебядкин и Прохор Малов (теперь умер). Более никто никогда не узнал, а те дали слово молчать. Мне всегда казалось это молчание как бы гадостью, но до сих пор оно не нарушено, хотя я и имел намерение объявить; объявляю заодно теперь.

Обвенчавшись, я тогда уехал в губернию к моей матери. Я поехал для развлечения, потому что было невыносимо. В нашем городе я оставил по себе идею, что я помешан,— идею, до сих пор не искоренившуюся и мне, несомненно, вредную, о чем объясню ниже. Потом я уехал за границу и пробыл четыре года.

Я был на Востоке, на Афоне выстаивал восьмичасовые всенощные, был в Египте, жил в Швейцарии, был даже в Исландии; просидел целый годовой курс в Геттингене. В последний год я очень сошелся с одним знатным русским семейством в Париже и с двумя русскими девицами в Швейцарии. Года два тому назад, в Франкфурте, проходя мимо бумажной лавки, я, между продажными фотографиями, заметил маленькую карточку одной девочки, одетой в изящный детский костюм, но очень похожей на Матрешу. Я тотчас купил карточку и, придя в отель, положил на камин. Здесь она так и пролежала с неделю нетронутая, и я ни разу не взглянул на нее, а уезжая из Франкфурта, забыл взять с собой.

Заношу это именно, чтобы доказать, до какой степени я мог властвовать над моими воспоминаниями и стал к ним бесчувствен. Я отвергал их все разом в массе, и вся масса послушно исчезала, каждый раз как только я того хотел. Мне всегда было скучно припоминать прошлое, и никогда я не мог толковать о прошлом, как делают почти все. Что же касается до Матрешы, то я даже карточку ее позабыл на камине.

Тому назад с год, весной, следуя через Германию, я в рассеянности проехал станцию, с которой должен был повернуть на мою дорогу, и попал на другую ветвь. Меня высадили на следующей станции; был третий час пополудни, день ясный. Это был крошечный немецкий городок. Мне указали гостиницу. Надо было выждать: следующий поезд проходил в одиннадцать часов ночи. Я даже был доволен приключением, потому что никуда не спешил. Гостиница оказалась дрянная и маленькая, но вся в зелени и кругом обставленная клумбами цветов. Мне дали тесную комнатку. Я славно поел, и так как всю ночь был в дороге, то отлично заснул после обеда часа в четыре пополудни.

Мне приснился совершенно неожиданный для меня сон, потому что я никогда не видал в этом роде. В Дрездене, в галерее, существует картина Клод Лоррена, по каталогу, кажется „Асис и Галатея“, я же называл ее всегда „Золотым веком“, сам не знаю почему. Я уже и прежде ее видел, а теперь, дня три назад, еще раз, мимоходом, заметил. Эта-то картина мне и приснилась, но не как картина, а как будто какая-то быть.

Это — уголок греческого архипелага; голубые ласковые волны, острова и скалы, цветущее побережье, волшебная панорама вдали, заходящее зовущее солнце — словами не передашь. Тут запомнило свою колыбель европейское человечество, здесь первые сцены из мифологии, его земной рай... Тут жили прекрасные люди! Они вставали и засыпали счастливые и невинные; роши наполнялись их веселыми песнями, великий избыток непочатых сил уходил в любовь и в простодушную радость. Солнце обливало лучами эти острова и море, радуясь на своих прекрасных детей. Чудный сон, высокое заблуждение! Мечта, самая невероятная из всех, какие были, которой всё человечество, всю свою жизнь отдавало все свои силы, для которой всем жертвовало, для которой умирали на крестах и убивались пророки, без которой народы не хотят жить и не могут даже и умереть. Всё это ощущение я как будто прожил в этом сне; я не знаю, что мне именно снилось, но скалы, и море, и косые лучи заходящего солнца — все это я как будто еще видел, когда проснулся и раскрыл глаза, в первый раз в жизни буквально омоченные слезами. Ощущение счастья, еще мне неизвестного, прошло сквозь сердце мое даже до боли. Был уже полный вечер; в окно моей маленькой комнаты сквозь зелень стоящих на окне цветов прорывался целый пук ярких косых лучей заходящего солнца и обливал меня светом. Я поскорее закрыл опять глаза, как бы жаждая возвратить миновавший сон, но вдруг как бы среди яркого-яркого света я увидел какую-то крошечную точку. Она принимала какой-то образ, и вдруг мне явственно представился крошечный красненький паучок. Мне сразу припомнился он на листке герани, когда так же лились косые лучи заходящего солнца. Что-то как будто вонзилось в меня, я приподнялся и сел на постель... (Вот всё как это тогда случилось!)

Я увидел пред собою (о, не наяву! если бы, если бы это было настоящее видение!), я увидел Матрешу, исхудавшую и с лихорадочными глазами, точь-в-точь как тогда, когда она стояла у меня на пороге и, кивая мне головой, подняла на меня свой крошечный кулачок. И никогда ничего не являлось мне столь мучительным! Жалкое отчаяние беспомощного десятилетнего существа с несложившимся рассудком, мне грозившего (чем? что могло оно мне сделать?), но обвинявшего, конечно, одну себя! Никогда еще ничего подобного со мной не было. Я просидел до ночи, не двигаясь и забыв время. Это ли называется угрызением совести или раскаянием? Не знаю и не мог бы сказать до сих пор. Мне, может быть, не омерзительно даже доселе воспоминание о самом поступке. Может быть, это воспоминание включает в себе даже и теперь нечто для страстей моих приятное. Нет — мне невыносим только один этот образ, и именно на пороге, с своим поднятым и грозящим мне кулачком, один только ее тогдашний вид, только одна тогдашняя минута, только это кивание головой. Вот чего я не могу выносить, потому что с тех пор представляется мне почти каждый день. Не само представляется, а я его сам вызываю и не могу не вызывать, хотя и не могу с этим жить. О, если б я когда-нибудь увидал ее наяву, хотя бы в галлюцинации!

У меня есть другие старые воспоминания, может быть получше и этого. С одной женщиной я поступил хуже, и она оттого умерла. Я лишил жизни на дуэли двух невинных передо мною. Я однажды был оскорблен смертельно и не отмстил противнику. На мне есть одно отравление — намеренное и удавшееся и никому не известное. (Если надо, я обо всем сообщу).

Но почему ни одно из этих воспоминаний не возбуждает во мне ничего подобного? Одну разве ненависть, да и то вызванную теперешним положением, а прежде я хладнокровно забывал и отстранял.

Я скитался после того почти весь этот год и старался заняться. Я знаю, что я бы мог устранить и теперь девочку, когда захочу. Я совершенно владею моею волей по-прежнему. Но в

том всё и дело, что никогда не хотел того сделать, сам не хочу и не буду хотеть; я уж про это знаю. Так и продолжится вплоть до моего сумасшествия.

В Швейцарии я смог, два месяца спустя, влюбиться в одну девицу, или, лучше сказать, я ощутил припадок такой же страсти с одним из таких же неистовых порывов, как бывало это лишь когда-то, первоначально. Я почувствовал ужасный соблазн на новое преступление, то есть совершить двоеженство (потому что я уже женат); но я бежал, по совету другой девушки, которой я открылся почти во всем. К тому же это новое преступление нисколько не избавило бы меня от Матрешы.

Таким образом, я решился отпечатать эти листки и везти их в Россию в трехстах экземплярах. Когда придет время, я отошлю в полицию и к местной власти; одновременно пошлю в редакции всех газет, с просьбою гласности, и множеству меня знающих в Петербурге и в России лиц. Равномерно появится в переводе за границей. Я знаю, что юридически я, может быть, и не буду обеспокоен, по крайней мере значительно; я один на себя объявляю и не имею обвинителя; кроме того, никаких или чрезвычайно мало доказательств. Наконец, укоренившаяся идея о расстройстве моего рассудка и, наверно, старание моих родных, которые этою идеею воспользуются и затушат всякое опасное для меня юридическое преследование. Это я заявляю, между прочим, для того, чтобы доказать, что я в полном уме и положение мое понимаю. Но для меня останутся те, которые будут знать все и на меня глядеть, а я на них. И чем больше их, тем лучше. Облегчит ли это меня — не знаю. Прибегаю как к последнему средству.

Еще раз: если очень поискать в петербургской полиции, то, может быть, что-нибудь и отыщется. Мещане, может быть, и теперь в Петербурге. Дом, конечно, припомнят. Он был светло-голубой. Я же никуда не уеду и некоторое время (с год или два) всегда буду находиться в Скворешниках, имении моей матери. Если же потребуют, явлюсь всюду.

Николай Ставрогин».

<III>

Чтение продолжалось около часу. Тихон читал медленно и, может быть, перечитывал некоторые места по другому разу. Во всё это время Ставрогин сидел молча и неподвижно. Странно, что оттенок нетерпения, рассеянности и как бы бреда, бывший в лице его всё это утро, почти исчез, сменившись спокойствием и как бы какой-то искренностью, что придавало ему вид почти достоинства. Тихон снял очки и начал первый, с некоторою осторожностью.

— А нельзя ли в документе сем сделать иные исправления?

— Зачем? Я писал искренно,— ответил Ставрогин.

— Немного бы в слог.

— Я забыл вас предупредить, что все слова ваши будут напрасны; я не отложу моего намерения; не трудитесь отговаривать.

— Вы об этом не забыли предупредить еще давеча, прежде чтения.

— Все равно, повторяю опять: какова бы ни была сила ваших возражений, я от моего намерения не отстану. Заметьте, что этою неловкою фразой или ловкою — думайте как хотите — я вовсе не напрашиваюсь, чтобы вы поскорее начали мне возражать и меня упрашивать,— прибавил он, как бы не выдержав и вдруг впадая опять на мгновение в давешний тон, но тотчас же грустно улыбнулся своим словам.

— Я возражать вам и особенно упрашивать, чтоб оставили ваше намерение, и не мог бы. Мысль эта — великая мысль, и полнее не может выразиться христианская мысль. Дальше подобного удивительного подвига, который вы замыслили, идти покаяние не может, если бы только...

— Если бы что?

— Если б это действительно было покаяние и действительно христианская мысль.

— Это, мне кажется, тонкости; не всё ли равно? Я пи сал искренно.

— Вы как будто нарочно грубее хотите представить себя, чем бы желало сердце ваше...— осмеливался все более и более Тихон. Очевидно, «документ» произвел на него сильное впечатление.

— «Представить»? — повторяю вам: я не «представлялся» и в особенности не «ломался».

Тихон быстро опустил глаза.

— Документ этот идет прямо из потребности сердца, смертельно уязвленного,— так ли я понимаю? — продолжал он с настойчивостью и с необыкновенным жаром.— Да, сие есть покаяние и натуральная потребность его, вас поборовшая, и вы попали на великий путь, путь из неслыханных. Но вы как бы уже ненавидите вперед всех тех, которые прочтут здесь описанное, и зовете их в бой. Не стыдясь признаться в преступлении, зачем стыдитесь вы покаяния? Пусть глядят на меня, говорите вы; ну, а вы сами, как будете глядеть на них? Иные места в вашем изложении усилены слогом; вы как бы любуетесь психологией вашею и хватаетесь за каждую мелочь, только бы удивить читателя бесчувственностью, которой в вас нет. Что же это как не горделивый вызов от виноватого к судьбе?

— Где же вызов? Я устранил всякие рассуждения от моего лица.

Тихон смолчал. Даже краска покрыла его бледные щеки.

— Оставим это,— резко прекратил Ставрогин.— Позвольте сделать вам вопрос уже с моей стороны: вот уже пять минут, как мы говорим после этого (он кивнул на листки), и я не вижу в вас никакого выражения гадливости или стыда... вы, кажется, не брезгливы!..

Он не закончил и усмехнулся.

— То есть вам хотелось бы, чтоб я высказал вам поскорее мое презрение,— твердо договорил Тихон.— Я пред вами ничего не утаю: меня ужаснула великая праздная сила, ушедшая нарочито в мерзость.

Что же до самого преступления, то и многие грешат тем же, но живут со своею совестью в мире и в спокойствии, даже считая неизбежными проступками юности. Есть и старцы, которые грешат тем же, и даже с утешением и с игривостью. Всеми этими ужасами наполнен весь мир. Вы же почувствовали всю глубину, что очень редко случается в такой степени.

— Уж не уважать ли вы меня стали после листков? — криво усмехнулся Ставрогин.

— Отвечать прямо о сем не буду. Но более великого и более страшного преступления, как поступок ваш с отроковицей, разумеется, нет и не может быть.

— Оставим меру на аршины. Меня несколько дивит ваш отзыв о других людях и об обыкновенности подобного преступления. Я, может быть, вовсе не так страдаю, как здесь написал, и, может быть, действительно много налгал на себя,— прибавил он неожиданно.

Тихон смолчал еще раз. Ставрогин и не думал уходить, напротив, опять стал впадать мгновениями в сильную задумчивость.

— А эта девица,— очень робко начал опять Тихон,— с которою вы прервали в Швейцарии, если осмелюсь спросить, находится... где в сию минуту?

— Здесь.

Опять молчание.

— Я, может быть, вам очень налгал на себя,— настойчиво повторил еще раз Ставрогин.— Впрочем, что же, что я их вызываю грубостью моей исповеди, если вы уж заметили вызов? Я заставлю их еще более ненавидеть меня, вот и только. Так ведь мне же будет легче.

— То есть их ненависть вызовет вашу, и, ненавидя, вам станет легче, чем если бы приняв от них сожаление?

— Вы правы; знаете,— засмеялся он вдруг,— меня, может быть, назовут иезуитом и богомольною ханжой, ха-ха-ха? Ведь так?

— Конечно, будет и такой отзыв. А скоро вы надеетесь исполнить сие намерение?

— Сегодня, завтра, послезавтра, почему я знаю? Только очень скоро. Вы правы: я думаю, именно так придется, что оглашу внезапно и именно в какую-нибудь мстительную, ненавистную минуту, когда всего больше буду их ненавидеть.

— Ответьте на вопрос, но искренно, мне одному, только мне: если б кто простил вас за это (Тихон указал на листки), и не то чтоб из тех, кого вы уважаете или боитесь, а незнакомец, человек, которого вы никогда не узнаете, молча, про себя читая вашу страшную исповедь, легче ли бы вам было от этой мысли или всё равно?

— Легче,— ответил Ставрогин вполголоса, опуская глаза. Если бы вы меня простили, мне было бы гораздо легче,— прибавил он неожиданно и полупшепотом.

— С тем, чтоб и вы меня также,— проникнутым голосом промолвил Тихон.

— За что? что вы мне сделали? Ах, да, это монастырская формула?

— За вольная и невольная. Согрешив, каждый человек уже против всех согрешил и каждый человек хоть чем-нибудь в чужом грехе виноват. Греха единичного нет. Я же грешник великий, и, может быть, более вашего.

— Я вам всю правду скажу: я желаю, чтобы вы меня простили, вместе с вами другой, третий, но все — все пусть лучше ненавидят. Но для того желаю, чтобы со смирением перенести...

— А всеобщего сожаления о вас вы не могли бы с тем же смирением перенести?

— Может быть, и не мог бы. Вы очень тонко подхватываете. Но... зачем вы это делаете?

— Чувствую степень вашей искренности и, конечно, много виноват, что не умею подходить к людям. Я всегда в этом чувствовал великий мой недостаток,— искренно и задушевно промолвил Тихон, смотря прямо в глаза Ставрогину,— Я потому только, что мне страшно за вас,— прибавил он,— перед вами почти непроходимая бездна.

— Что не выдержу? что не вынесу со смирением их ненависти?

— Не одной лишь ненависти.

— Чего же еще?

— Их смеху,— как бы через силу и полупшепотом вырвалось у Тихона.

Ставрогин смутился; беспокойство выразилось в его лице.

— Я это предчувствовал,— сказал он.— Стало быть, я показался вам очень комическим лицом по прочтении моего «документа», несмотря на всю трагедию? Не беспокойтесь, не конфузьтесь... я ведь и сам предчувствовал.

— Ужас будет повсеместный и, конечно, более фальшивый, чем искренный. Люди боязливы лишь перед тем, что прямо угрожает личным их интересам. Я не про чистые души говорю: те ужаснутся и себя обвинят, но они незаметны будут. Смех же будет всеобщий.

— И прибавьте замечание мыслителя, что в чужой беде всегда есть нечто нам приятное.

— Справедливая мысль.

— Однако же вы... вы-то сами... Я удивляюсь, как дурно вы думаете про людей, как гадливо,— с некоторым видом озлобления произнес Ставрогин.

— А верите, я более по себе судя сказал, чем про людей! — воскликнул Тихон.

— В самом деле? да неужто же есть в душе вашей хоть что-нибудь, что вас здесь веселит в моей беде?

— Кто знает, может, и есть. О, может, и есть!

— Довольно. Укажите же, чем именно я смешон в моей рукописи? Я знаю чем, но я хочу, чтоб указали вы вашим пальцем. И скажите поциничнее, скажите именно со всею тою искренностью, к которой вы способны. И еще повторю вам, что вы ужасный чудак.

— Даже в форме самого великого покаяния сего заключается уже нечто смешное. О, не верьте тому, что не победите! — воскликнул он вдруг почти в восторге,— даже сия форма победит (указал он на листки), если только искренно примете заушение и заплевание. Всегда кончалось тем, что наипозорнейший крест становился великою славой и великою силой, если искренно было смирение подвига. Даже, может, при жизни вашей уже будете утешены!..

— Итак, вы в одной форме, в слогe, находите смешное? — настаивал Ставрогин.

— И в сущности. Некрасивость убьет,— прошептал Тихон, опуская глаза.

— Что-с? некрасивость? чего некрасивость?

— Преступления. Есть преступления поистине некрасивые. В преступлениях, каковы бы они ни были, чем более крови, чем более ужаса, тем они внушительнее, так сказать, картиннее; но есть преступления стыдные, позорные, мимо всякого ужаса, так сказать, даже слишком уж не изящные...

Тихон не договорил.

— То есть,— подхватил в волнении Ставрогин,— вы находите весьма смешною фигуру мою, когда я целовал ногу грязной девчонки... и все, что я говорил о моем темпераменте и... ну и всё прочее... понимаю. Я вас очень понимаю. И вы именно потому отчаиваетесь за меня, что некрасиво, гадливо, нет, не то что гадливо, а стыдно, смешно, и вы думаете, что этого-то я всего скорее не перенесу?

Тихон молчал.

— Да, вы знаете людей, то есть знаете, что я, именно я, не перенесу... Понимаю, почему вы спросили про барышню из Швейцарии, здесь ли она?

— Не приготовлены, не закалены,— робко прошептал Тихон, опустив глаза.

— Слушайте, отец Тихон: я хочу простить сам себе, и вот моя главная цель, вся моя цель! — сказал вдруг Ставрогин с мрачным восторгом в глазах.— Я знаю, что только тогда исчезнет видение. Вот почему я и ищу страдания безмерного, сам ищу его. Не пугайте же меня.

— Если веруете, что можете простить сами себе и сего прощения себе в сем мире достигнуть, то вы во всё веруете! — восторженно воскликнул Тихон.— Как же сказали вы, что в бога не веруете?

Ставрогин не ответил.

— Вам за неверие бог простит, ибо духа святого чтите, не зная его.

— Кстати, Христос ведь не простит,— спросил Ставрогин, и в тоне вопроса послышался легкий оттенок иронии,— ведь сказано в книге: «Если соблазните единого от малых сих» — помните? По Евангелию, больше преступления нет и не может (быть). Вот в этой книге!

Он указал на Евангелие.

— Я вам радостную весть за сие скажу, — с умилением промолвил Тихон,— и Христос простит, если только достигнете того, что простите сами себе... О нет, нет, не верьте, я хулу сказал: если и не достигнете примирения с собою и прощения себе, то и тогда Он простит за намерение и страдание ваше великое... ибо нет ни слов, ни мысли в языке человеческом для выражения *всех* путей и поводов Агнца, «дондеже пути его въявь не откроются нам». Кто обнимет его, необъятного, кто поймет *всего*, бесконечного!

Углы губ его задергались, как давеча, и едва заметная судорога опять прошла по лицу. Покрепившись мгновение, он не выдержал и быстро опустил глаза.

Ставрогин взял с дивана свою шляпу.

— Я приеду и еще когда-нибудь,— сказал он с видом сильного утомления,— мы с вами... я слишком ценю удовольствие беседы и честь... и чувства ваши. Поверьте, я понимаю, почему иные вас так любят. Прошу молитв ваших у Того, которого вы так любите.